



**Н.К. РЕРИХ**

**ПУТИ  
БЛАГОСЛОВЕНИЯ**

Имя Николая Константиновича Рериха относится к плеяде выдающихся деятелей русской и мировой культуры. Талант Рериха был универсальным: художник, философ, путешественник, крупный общественный деятель.

Все написанное Рерихом стоит к нам ближе, чем мы считаем, и является более доступным для нас, чем мы себе это представляем. Каждое его слово поражает точностью и обдуманностью. В одном из трудов он писал: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно». Планетарная роль творческого наследия семьи Рериха еще не осознана и неосмыслена до конца.

---

---

**Николай Рерих**

**По пути из варяг в греки**

Плывут полунощные гости.

Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями – всполошило их мирную жизнь что-то малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские – увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.

Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно – все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их – в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее – славную, полную дикого простора и воли.

Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротой наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен – чаще он полосатый; полосы на нем или вдоль или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, – дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом.

На мореходной ладье народу довольно – человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и туры рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников, – мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам.

Стихнет ветер – дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру – в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.

Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховом. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь – пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотой; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение – украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами,

претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб – много художественнее их.

За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место – старинное потемкинское имение Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и разворачивается в привольную северную реку, – серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая заскорузлая провинция, – даже названия улиц, и те еще не прививаются среди обывателей.

Левее города, за крепостью, бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно, так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до Новой Ладоги. Накрененная набок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой она производит впечатление скорее самовара, чем пассажирского парохода, но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода – труба – срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бечевы барж, идущих по каналу на четырех лохматых лошаденках; глубина канала заставляет отказаться от киля и винта; тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков, а почему их нельзя было распределить равномернее – этого мне не могла объяснить пароходная прислуга.

Затрясся, задрожал пароход, казалось, еще больше накренился набок, и мы тронулись по каналу, параллельно Ладожскому озеру, с быстротою 6 верст в час. Случайный собеседник, знакомый с местными порядками, успокаивает, что, вероятно, придем вовремя, если не сцепимся со встречною баркою или не сядем на мель, – и то и другое бывает нередко.

Через вал канала то и дело выглядывает горизонт Ладожского озера. Среди местных поверий об озере ясно сказывается влияние старины: озеро карает за преступления.

Подобные рассказы сводятся к следующему типу. Позарился мужичок на чужие деньги, убил своего спутника во время пути в Ладогу по льду и столкнул труп на лед. Сам поехал дальше и заснул. Просыпается – уже ночь; поднялся ветер, снег дочиста сдуло со льда; понесло мужика вместе с лошадыю прочь с дороги неведомо куда. Увидел мужик, что дело плохо, потому что при сильном ветре Бог весть как далеко занести может и, чего доброго, в полынью попадешь; отпряг он лошадь, вывернул оглобли, заострил концы и пошел по знакомым приметам: пускай и лошадь, и санки, и все пропадет, лишь бы самому от смерти уйти. Крепчает ветер, слепит вьюгой глаза, затупились колья, не цепляются они больше за лед, и мужика понесло по ветру. Среди снежного моря зачернелось что-то, ближе и ближе – прямо на чернизину летит мужик. Смотрит, перед ним убитый товарищ; хочет свернуть в сторону – не слушаются ноги, зацепляют за труп, подламывается лед, и убийца вместе с убитым тонут в озере. Интересный осколок Новгородских былин! Последняя картинка этого эпизода, когда роковым образом встречаются убийца со своею жертвою, – очень художественна.

По правую сторону парохода низкая болотная местность, среди нее где-то, по словам местного пассажира, притаилась богатая раскольничья деревня, пробраться в которую можно лишь в удобное зимнее время. Небось в таком уголке сохранилось немало интересного: и песни, и поверья, и окруты старинные – делается обидно, почему теперь не зима. Мимо тянутся баржи, носы часто разукрашены хитрыми резными коньками, невольно напрашивающимися на параллель с байекским ковром. С одной грузной беляной стряслась беда – затонула, широко расплылись массы дров. На берегу примостился ее экипаж, выстроили шалашик, развели огонь, варят рыбку, мирно и спокойно, словно и зимовать здесь собрались.

Серый однообразный пейзаж тянется вплоть до самой Новой Ладого. Сравнительно поздно возникшая, она, конечно, не может дать ни художественного, ни исторического материала; за ней впереди чуется что-то более значительное: в 12 верстах от нее историческое гнездо – Старая Ладога. Скучно дожидаться волховского парохода: торопясь, на почтовых, скачешь туда по прекрасной шоссированной дороге. Слева местами выглядывает Волхов – берега песчаные, заросли сосной и вереском. Потом дорога возьмет правее и пойдет почти вплоть до самой Старой Ладого по обычному пологому пейзажу, с лесом на горизонте. Из-за бугра выглянули три кургана – волховские сопки. Большая из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется очень высокой. Выбираемся на бугор – и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курганы, и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом, один красивее другого. Из-за кургана, наполовину скрытая пахотным черным бугром, торчит белая Ивановская церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды – типичная монастырская ограда с белыми башенками по углам. Далее в беспорядке – серые и желтоватые остовы посада вперемежку с белыми силуэтами церквей. Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды, что-то белеет, а за всем этим густо-зеленый бор – все больше хвоя; через силуэты елей и сосен опять выглядывают вершины курганов. Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение.

Когда вас охватывает настроение, словно при встрече с почтенным старцем, невольно замедляете походку, голос становится тише и вместе с чувством уважения вас наполняет какой-то удивительный покой, будто смотрите куда-то далеко, без первого плана.

Поэзия старины, кажется, самая задушевная. Ей основательно противопоставляют поэзию будущего; но почти беспочвенная будущность, несмотря на свою необъятность, вряд ли может так же сильно настроить кого-нибудь, как поэзия минувшего. Старина, притом старина своя, ближе всего человеку... Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладогу. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем сколько прекрасного и типичного можно вывезти из этого забытого уголка – осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать. (Совершить такую поездку, как видно из приведенных подробностей пути, чрезвычайно просто.)

Мне приходилось встречать художников, пеняющих на судьбу, не посылающую им мотивов. «Все переписано, – богохульствуют они, – справа ли, слева ли поставлю березку или речку, все выходит старо. Вам, историческим живописцам, хорошо, – у вас угол непочатый, а нам-то какво, современным, и особенно пейзажистам».

Вот бедные! Они не замечают, что кругом все ново бесконечно, только сами-то они, вопреки природе, норовят быть старыми и хотят видеть во всем новом старый шаблон и тем приучают к нему массу публики, извращая непосредственный вкус ее. Точно можно сразу перебрать неисчислимые настроения, разлитые в природе, точно субъективность людей ограничена? Говорят, будто нечего писать, а превосходные мотивы, доступные даже для копииста и протоколиста, остаются втуне, лежат под самым боком нетронутыми.

Да что говорить о скудных художниках, которым не найти мотива!.. Я почти уверен, что даже поэту пейзажа будет превосходная тема, если он в тихий вечер, когда по всему небу разбежались узорчатые, причудливые тучи, постоит на плоту, недалеко от Успенского монастыря в Ст. Ладого и поглядит на крепостную церковь, посад, на далекий Никольский монастырь – все это, облитое последним лучом, спокойно отразившееся в засыпающем Волхове. Стоит только обернуться – и перед вами другой мотив, не менее прекрасный. Старый сад Успенского монастыря, стена и угловые башенки прямо уходят в воду, потому что Волхов в разливе. Сквозь уродливые, переплетшиеся ветки сохнувших высоких деревьев, с черными

шапками грачовых гнезд по вершинам, чувствуется холодноватый силуэт церкви новгородского типа. За нею ровный пахотный берег и далекие сопки, фон – огневая вечерняя заря, тушующая первый план и неясными темными пятнами выдвигающая бесконечный ряд черных фигур, что медленно направляются из монастырских ворот к реке, – то послушницы идут за водою.

Ладожские церкви, такие типичные по внешнему виду, как и большинство церквей Новгородской области, внутри представляют мало интересного. Живопись нова и неудачна, древней утвари не сохранилось. Исключение представляет церковь в крепости – в ней уцелела древнейшая фресковая живопись. Подле каменной церкви приютилась тоже старинная, крохотная, серая деревянная церковочка – тип церкви какого-нибудь далекого скита. Вся она перекосилась, главка упала, и крест прямо воткнут в уцелевший барабан ее. Интересное крылечко провалилось, дверка вросла в землю. Церковка обречена на паденье.

Подле крепости указывают еще на два церковных фундамента, открытых г. Бранденбургом, исследовавшим местные древности. Раскопка Ладоги еще впереди.

Пишем этюды. Как обыкновенно бывает, лучшие места оказываются застроенными и загороженными. Перед хорошим видом на крепостную стену торчит какой-то несуразный сарай; лучший ракурс Ивановской церкви портится избой сторожа. Вечная история! Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться – на постройки или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания, а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным, не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда-то кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью? – думается, такое время все-таки да будет.

На прощанье взбираемся к вершине кургана и фантазируем сцену тризны. Невдалеке от реки возвышается какой-то «холм», поросший вереском.

– А ведь там, смотри, на бугре когда-нибудь жило, стояло: может быть, городок был, – указывает на холм мой товарищ и затягивает: «Купался бобер».

Видно, и на него повеяло древним язычеством.

От Старой Ладоги до Дубовика характер берегов и течение реки не изменяются. Берега высокие, на самом откосе торчат курганы. Много портят пейзаж прибрежные плитоломни. Что-то выйдет из Волховских берегов, если подобная работа и впредь будет производиться так же ревностно? За поворотом исчезли последние признаки Старой Ладоги, и мы радуемся этому, потому что увозим от нее самые приятные воспоминания, пропустив мимо всю ее неприглядную обыденную жизнь, сосредоточившуюся, как заметно уже на второй день пребывания, лишь на прибытии парохода с низа или с верха.

Пароход дальше Дубовика не идет – тут начинаются пороги, так что до Гостинопольской паровой пристани (расстояние около 10 верст) надо проехать в дилижансе. Дилижанс этот представляет из себя не что иное, как остов большого ящика, поставленный ребром, с выбитыми дном и крышкою. Мы сели лицом к реке. Лошади рванули и проскакали почти без передышки до пристани. Дорога шла подле самой береговой кручи; несколько раз колесо оказывалось на расстоянии не более четверти от обрыва, так что невольно мы начинали соображать, что, если на какой-нибудь промоине нас выкинет из дилижанса, упадем ли мы сразу в Волхов или несколько времени продержимся за кусты. А Волхов внизу кипел и шипел. Мы скакали мимо самых злых порогов. Несмотря на разлив, давно незапамятный, из воды все же торчали кое-где камни; подле них белела пена, длинным хвостом скатываясь вниз. Сила течения в порогах громадна: в половодье груженная баржа проходит несколько десятков верст в час. Целая толпа мужиков и баб правит ею; рулевого нередко снимают от руля в обмороке – таково сильно

нервное и физическое напряжение.

Баржу гонят с гиком и песнями; личность потонула в общем подъеме. Вода бурлит, скрипят борты... Какая богатая картина! Название Гостинополь заставляет задуматься – в нем слышится что-то нетеперешнее. Наверное, здесь был волок, ибо против течения пройти в Волховских порогах и думать нечего? В Гостинополь же ладьи снова спускались и шли к Днепровскому бассейну. Может быть, до Дубовика шли в старину на мореходных ладьях (слово «дубовик» напрашивается на производство от «дуб-лодка»), а в Гостинополе сохранялись лодки меньшего размера – резные. Впрочем, становиться на точку таких предположений опасно.

В Гостинополе погрузились на пароход, что повезет нас до Волховской станции Николаевской дороги, – там опять пересадка. На палубе парохода целое стадо телят, лежат они, связанные, жалобно мыча, – иных пассажиров не видно, но удивляться этому нечего, ибо поездки по Руси ведь совсем не приняты, да к тому же нельзя сказать, чтобы и сообщение было хорошо приспособлено; так мы приехали в Гостинополь в 8-м часу вечера, а пароход отходил в 3½ часа утра. Почему не в 5 или не в 4 – неизвестно. Впрочем, отхода его мы не дождались, ибо к тому времени уже спали крепким сном. Проснувшись заутро, товарищ выглянул в окошко:

– Ну, что там? Красиво?

– Тундра какая-то! Болото и топь.

Часа через два я выглянул – опять низкое место, которое потянулось вплоть до станции Волхов. Знаменитое аракчеевское Грузино – нечто очень печальное, суровое, опустившееся, ничего общего не имеющее с тою великолепною декорацией, какую нам представляют его современные гравюры. На Волховской станции нас усердно уговаривали продолжать путь по железной дороге и, наконец, посмотрели с сожалением, как на людей, действующих к явной своей невыгоде; для продолжения водного пути пришлось сидеть на станции от 11 часов утра до 5 утра же, тогда как поезд проходил через полчаса. Оставалось спать и спать, потому что в сером пейзаже, состоявшем из затопленных деревьев, было мало интересного и красивого.

– Гуся, что ли, нарисовать на память о великом водном пути, – предложил я, и мы смеялись, вспомнив, как один художник объяснял цель и смысл художественных поездок: «...а то другой едет за тысячи верст и там коровой занимается или курицей самой обыкновенной, точно он дома не мог бы то же самое сделать с большим успехом и удобством», – говорил он.

Путь от Волховской станции до самого Новгорода ничем особенным не радует. Аракчеевские казармы, бесконечные пашни – все это благоустроено, но ordinarily. Перед Новгородом несколько монастырей самого обыденного вида. Единственно красивое место за весь этот кусок пути – так называемые Горбы с остатками славного соснового бора, сильного и ровного, как щетка. Чем ближе двигались мы к Новгороду (местный житель никогда не скажет – «Новгороду», а подчеркнет «Нóву городу»), тем сильнее и сильнее овладевало нами какое-то разочарование. Разочаровал нас вид Кремля, разочаровали встречные типы, разочаровало общее полное безучастие к историчности этого места. Что подумает иностранец, когда мы, свои люди, усомнились: да полно, господин ли это великий Новгород?

«На мосту стояла старица,  
На мосту чрез синий Волхов...» —

вспомнил мой спутник, когда мы входили на мост, направляясь в Кремль. Но вместо старицы на мосту стоял отвратительного вида босяк с кровавой шишкой под глазом.

Навстречу попало несколько мужиков – истые «худые мужички-вечники», за кого кричать, за что – все равно; лишь бы поднесли.



Софийский собор в лесах; там идет, как известно, капитальный ремонт. Уже давно было слышно, что по какому-то странному стечению обстоятельств важная задача расписать этот славнейший и древнейший русский собор миновала руки художников и выпала на долю артели богомазов. На расстоянии как-то все смягчается, многое важное ускользает от внимания в заглазных рассказах, пока не увидишь воочию. Я думаю, и вы, кому придется читать эти строки, не обратите на них никакого внимания; кругом все тихо и смиренно, какое кому дело, что где-то в отжившем городе совершается нечто странное? А между тем это «нечто странное», если вдуматься, оказывается чрезвычайно знаменательным. На рубеже XX века, при возрастающем общем интересе к отечественным древностям, при новых путях религиозной живописи, один из лучших русских памятников старины расписывается иконописцами-богомазами, и притом – как расписывается! Жутко делается, когда лазишь по внутренним лесам храма мимо этих богомазных изображений – глубоко бездарных, сухих, пригодных разве в захолустную церковь сверхштатного городишки, а никак не уместных при соседстве с памятником тысячелетия Руси. Еще обиднее и гаже становится, когда осмотришь внизу превосходную древнюю фреску Константина и Елены и купольные изображения пророков и архангелов, наводящие на мысль: какой высоконациональный храм мог бы получиться из Софии под мастерскою кистью при таких основных базисах, каковы сохранившиеся остатки древних фресок; как стильно и художественно можно бы было заживить остальные стены! Какой богатый материал, какая возможность поддержать славный памятник и расцветом его, быть может, оживить целый город! – но вдруг все умышленно попирается, производится небольшая экономия... а что впереди? – там хоть потоп. Если не хватает средств, то отчего попросту не заштукатурить стены, оставив лишь остатки древней росписи? Или уже покрыть и старую живопись богомазными изделиями, не заказывать г. Фролову удачные подражания древних мозаик, убрать сохранившиеся, чтобы и сравнения не было, как оно могло быть и как есть на самом деле, – по крайности, не было бы полумер. Если изгонять художественность и национальность, то уж гнать их основательно, по всем пунктам, без пощады.

Мне кто-то хотел объяснить, как это печальное событие произошло, говоря, что много было всяких мелких обстоятельств; но, полагаю, для истории будет знаменательно, выясняя развитие русского искусства в конце XIX века, отметить крупный факт росписи первой русской святыни артелью богомазов, без участия пригоднейших к этому делу даровитых художников. Какое отрадное сведение, в особенности для всех причастных к современному искусству! – и перед собою-то стыдно, еще стыднее перед иностранцами, когда они скажут, на этот раз вполне заслуженно: «уж эти варвары!»

Джон Рескин, услышав о таком деле, наверное бы писал о нем в траурной рамке.

Новгородская косность простирается до такого предела, что из 10 встречных лишь один мог указать, как пройти к Спасу, что на Нередице, – к древности, которая должна бы быть известна каждому мальчишке, да и была бы известна в европейском городе,

Невелик городской музей Новгородский, содержание его больше случайное, а местонахождение не совсем удачно, ибо для него пришлось погубить одну из кремлевских башен; но это не беда, если бы музей хоть сколько-нибудь интересовал обитателей, а то посетители его почти исключительно приезжие, тогда как среди местных жителей находятся некоторые, вовсе и не подозревающие о существовании городского музея или знакомые с ним лишь понаслышке.

Интересен Знаменский собор, хотя особою древностью он не отличается. Сени и внешняя галерея его, видимо, первоначально были открытые, на арках с грушами, – теперь они заложены, и довольно неблагополучно: напр., внутри сеней новая кладка расписана «под мрамор» малярами, тогда как остальное пространство сплошь покрыто живописью. Можно представить,

насколько выиграет общий характер собора, если восстановить эти типичные арки, само же восстановление не должно обойтись слишком дорого.

Наиболее цельное впечатление из всех новгородских древностей производит церковь Спаса на Нередице. Не буду касаться исторических и иных подробностей этой интересной церкви, сохранившей в сравнительной цельности настенное письмо, – такие подробности можно найти в трудах Макария («Опис. Новгород. церк. древн.», I, 798), Прохорова; Н. В. Покровского и в имеющем выйти в ближайшем будущем VI выпуске «Русских Древностей», изд. гр. И. И. Толстым и акад. Н. П. Кондаковым. Основанная в 1197 году князем Ярославом Владимировичем, Спасская церковь по древности, а главное, по сохранности, является памятником исключительным и надо желать, чтобы как можно скорее она была издана полным и достойным для нее образом.

С софийской стороны, из Воскресенской слободы (в которой тоже типичные и древние храмы: Фомы апостола и Иоанна Милостивого), мы перерезали Волхов, бесконечный в своем разливе, направляясь к Нередице. Дело шло к вечеру, солнце било желтым лучом в белые стены Спаса, одиноко торчащего на бугре, – пониже его лепится несколько избушек и торчат ивы, кругом же ровный горизонт. Такие одиночные, среди пустой равнины, церкви очень типичны для новгородского пейзажа: то там, то тут, при каждом новом повороте, белеют они. Проехали мы Лядский бугор, где в былое время стоял монастырь, само же название урочища будто бы производится от божества Ладо.

На горизонте Ильмени выстроился ряд парусов – они стройно удалялись. Чудно и страшно было сознавать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские Садко, богатого гостя, вольные струги; проплывала Новгородская рать на роковую Шелонскую битву...

Ракурс Спаса с берега, пожалуй, еще красивей, нежели его дальний вид. Колокольная несколько позднейшей постройки, но зато сам корабль очень строен и характерен. Живопись, сплошь покрывающая стены и теряющаяся во мраке купола, полна гармонии, ласкает глаз на редкость приятным сочетанием тонов, облагороженных печатью времени.

Надо торопиться полно и достойно издать этот памятник – он уже требует серьезного ремонта, для которого, как говорят, не хватает средств. На первые нужды необходимо хоть 5000 рублей – неужели сейчас же не найдется любителя старины, располагающего такой суммой? Есть много богатых людей, не жалеющих своих достатков на добрые дела; ремонт Спаса ведь тоже доброе дело, да еще какое!

Возвращаясь к дому с Шелони, я дожидался поезда в Шимске. Среди многочисленных вокзальных объявлений бросался в глаза изящный плакат Дрезденской художественной выставки, и невольно думалось: что Шимску искусство? Да и будет ли когда оно для Шимска не пустым далеким звуком?